

ДИНА ДУРБИН

Минувшее тревожно забывая,
На долголетье втайне уповая,
Все медленней живем, все тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
С последней остановкой у Филей
Звучит в ушах, от нас не отставая,

Булат Окуджава

В те дни трамваи 31-й и 42-й, сворачивая с Плющихи, спускались по кривому переулочку к Бородинскому мосту, и пассажиры видели в летнее время на плоском берегу Москвы-реки не гранитные парапеты, не асфальтированную набережную, не гостиницу "Украина", а замусоренные пляжи, заборы и домики-развалюшки; на "крутце" же открывалась им маленькая полуразрушенная церковь, сзади которой высился красный кирпич, именуемый "домом архитекторов", а немного справа здание 31-й средней школы.... И купола Новодевичьего монастыря тоже были видны пассажирам вдалеке у излучины Москвы-реки, там, где крутой берег становился плоским, а плоский наоборот начинал горбиться массивом Ленинских гор... Сам же монастырь, если к нему приблизиться, отнюдь не выглядел таким нарядным, как сейчас, и на том месте, где теперь- окаймленный деревьями пруд с утками и лебедями, располагалась огромная свалка мусора.... Но клуб "Свердлова", на набережной подле Новодевичьего монастыря, существовал и в те дни, также как и клуб "Каучук"-возле Девичьего поля, также как и кинотеатр "Кадр" - средоточие всей культурной жизни Плющихи и прилегающих к ней переулков. И вот через глазки этих клубов и кинотеатров в разруху и неустроенность послевоенной Москвы полилась какая-то совершенно иная жизнь, настолько непохожая на то, что окружало людей в те дни, что казалось невероятным, что

такая жизнь могла вообще когда-либо где-либо существовать. И может быть, именно в силу этого каким-то странным образом слились воедино небоскребы, шикарные рестораны и нищенские коммунальные квартиры; всадники в широкополых шляпах, несущиеся по прериям, распахивающие дверь в каком-нибудь баре, заказывающие виски, вынимающие изо рта сигару, выхватывающие из-за пояса пистолет и измученные, изголодавшиеся люди, еще не верившие до конца, что стрельбы больше не будет, что кончились воздушные тревоги, что уже освобожден Брест, что уже пал Берлин... Перемешались балы, где пары вальсировали под звуки оркестра, и танцующие во дворах под патефон: фокстроты и танго-"Утомленное солнце", " Вшистка ми едно"...

Именно в эти-то дни она и сбежала с экрана клуба "Каучук", взволнованная и радостная в своей смешной шляпке и с чемоданчиком в руках; увы, никто из близких ее не встретил, ведь родители умерли, а богач-дядя, который платил за учение в пансионе, нисколько ею не интересовался. А она так любила его, так верила в него! Какое счастье, что я в это время стажировался в Америке!

-Простите, не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

- Нет, нет, благодарю вас.

- Послушайте, ну не потащите же вы сами этот чемодан. Мой автомобиль к вашим услугам. Как вас зовут?

- Конни.

- Прекрасно, а я-Владимир...

И я отвез ее к дяде и сделался свидетелем всех перипетий ее нелегкой жизни у него в доме, а потом, когда я уже больше не мог терпеть все это, и срок моей стажировки в Америке подходил к концу, я уговорил ее уехать со мной в Москву. Сейчас она живет на даче в Вострякове, мы с ней много гуляем, катаемся на велосипедах и собираемся пожениться.

Да, в Вострякове. Потому что именно в Вострякове -по Киевской железной дороге, в получасе езды от Москвы- снимали мы дачу в те первые послевоенные годы. Именно, в Востряково ездил я, сидя или стоя на подножке

поезда, сходил па платформе под павильоном с остроконечной крышей, шел не спеша по утоптанной дорожке, мимо дачных садов, из глубины которых доносилась патефонная музыка, мимо волейбольных площадок, мимо широких, поросших травой улиц, в просвет которых в вечерние часы виднелась светлая полоска Москвы.

А рядом со мной шла она или иногда ехала на велосипеде, порой с целым выводком подруг, ехала, насвистывая какой-то мотивчик, и птички на деревьях отвечали ей; и было это уже не в Вострякове, и не в Америке, а в какой-то швейцарской деревушке, в пансионе, куда мать отдала ее- ведь она была незаконнорожденная, и все это было -большим секретом: она и сама не догадывалась, что мать ее такая известная актриса... Это был "Секрет актрисы".

Конечно, я и до нее был много раз влюблен. Собственно говоря, последние 2-3 года я был влюблен непрерывно- я просто не мог жить без этого. Была девочка Ия, которая играла в волейбол около дома архитекторов. Я про нее только и знал, что зовут ее Ия, но больше мне ничего и не требовалось. Моя потребность мечтать обретала объект. А дальше - Ружейный, Неопалимовский, Долгий, Плющиха- выносили меня на Девичье поле, а потом к Новодевичьему монастырю и по набережной Москвы-реки до Бородинского моста, и дальше, дальше по Можайскому шоссе до самого края города, до конечной троллейбусной остановки, где начиналось поле, откуда до Вострякова было уже рукой подать. И я все мечтал, все фантазировал, все предвкушал жизнь- в которую вступал.

А потом по клубам пошли эти заграничные кинофильмы: без страны, без названия, просто "кинофильм" и все. "Мститель из Эльдорадо"! Карета останавливается, и из нее выходит незнакомка. Она делает всего несколько шагов и, пронзенная пулей, падает кому-то на руки. Она жила на экране не более трех минут, а я потом мечтал о ней целый месяц... и, в конце концов, тоже увозил в Москву.

Но все это было ненастоящее, все это были лишь мечты, лишь желание любить. И только, когда Дина Дурбин выбежала из пансиона, ища глазами дядю, который должен был ее встретить, я, наконец, понял, что полюбил раз и навсегда.

Потом я попривык, а поначалу было просто невыносимо: встречались мы редко, и встречи эти были такие яркие, такие пронзительные, настолько выбивающие меня из колеи, что потом очень трудно было возвращаться назад, к серой действительности. И в помине не было той легкости, с которой я любил Юю или невесту мстителя из Эльдорадо. Все это становилось угрожающе серьезно. Я жил только от встречи к встрече. А рядом с этим шел какой-то скучный, невыразительный кинофильм: хождение в школу, физика, которую я не знал и знать не хотел... и только длительные прогулки с Сережей Кирилловым и рассуждения о смысле жизни были для меня отдушиной.

* * *

Дина Дурбин- это моя юность, мое пробуждение, это послевоенная Москва, испещренная лабиринтом проходных дворов, где за каждым углом- своя жизнь, свои тайны, где обшарпанные парадные не похожи друг на друга, где среди двухэтажных домиков, окна которых видели бомбежки и салюты, высятся шестиэтажные кирпичные дома-великаны... Чтобы обойти один из них, идя с Плющихи в Ружейный, надо было пройти вдоль дровяных сараев, повернуть направо, и там на первом этаже было окно, мимо которого я всегда проходил с трепетом, потому что однажды, поздно вечером занавеска в этом окне была не совсем задернута, и я увидел женщину: на ней была только комбинация, она стояла... я не знаю, перед чем она стояла, может быть это было зеркало, она что-то делала с волосами, я не мог разглядеть ее толком: все внутри меня слишком стучало, слишком томилось; она отошла, и я перестал ее видеть, но потом еще много раз подкрадывался к этому окну, и не только к нему: все окна стали тянуть меня к себе, я сделался их пленником, их часовым; я не понимал, что со мною происходит, но со мной что-то происходило, что-то дурманило меня каждый вечер, тянуло в проходные дворы, к окнам на первом этаже,

заставляло жадно выпитывать и благословлять те обрывки жизни, которые оставляли мне незашторенные части окон.

А потом вдруг все это прошло. Могучий мутный поток, который нес меня через проходные дворы, мимо свалок мусора, мимо голубяток, мимо тополей, по лабиринту заборов и дворов, сквозь чердаки, забитые хламом, сквозь слуховые окна, выходящие на покатые крыши, вынес меня к клубу "Каучук", где на афише значилось: "кинофильм" - ни названия, ни страны, и я увидел ее и воспарил... воспарил над послевоенной Москвой- как может воспарить мальчик, входящий в комнату, где всю ночь кутили взрослые, где стол залит кровью вина, где всюду разбросана битая посуда и недокуренные папиросы, где пиршество войны смешало роскошь и убожество, где ни у кого еще нет сил начать убирать и наводить порядок... И вот в эту комнату входит молодая женщина: заспанная, неумытая, непричесанная, в халате, застегнутом всего на одну пуговицу. Она кутила здесь ночью, и теперь ей надо начать уборку, но у нее нет ни желания, ни сил этим заниматься; она зевает и потягивается, не обращая внимания на мальчика. А тот воспаряет и мечтает об этой притягательной жизни взрослых, об этой прекрасной женщине, к которой его влечет томительная и неведомая ему сила, о возможности сидеть за столом с ней рядом в этой комнате и делать что-то изумительное и невозможное. И мальчик поднимается в парах молодости и похмелья и опускается в истому подмосковных дач, зеленых участков, волейбольных площадок, патефонной музыки, и встречает девушку, выбежавшую из пансиона со своим чемоданчиком и ищущую глазами дядю, который и не подумал ее встретить, и начинает любить первый раз в жизни.

* * *

С тех пор утекло много воды. Нет больше в Ружейном переулке двухэтажного деревянного оштукатуренного домика и наших трех комнатных в коммунальной квартире с тополями под окнами, с голландской печкой и неустрашимыми клопами, обитавшими под обоями и особо возлюбившими

деревянные рамы висевших на стенах картин; с соседями, бывшими поначалу нашими ближайшими друзьями и превратившимися под конец в злейших врагов; с жильцами первого этажа: тетей Сашей, подолгу просиживавшей около окна и всегда со всеми ласковой и приветливой; ее дочкой- Лидухой, работавшей в детском саду, а в свободное время игравшей с упоением в волейбол в соседнем дворе; тетей Катей- высокой мрачноватой женщиной, у которой был сын Игорь-краса и гордость нашего двора: Игорь был летчик, и когда он ненадолго приезжал домой, все мы сбегались, чтобы полюбоваться на него, а он улыбался нам доброжелательно и снисходительно.

Нет больше соседнего, такого же, как наш, оштукатуренного двухэтажного домика, где жила старушка латышка Ольга Эдуардовна, еще перед войной учившая меня немецкому языку, а как-то в 42-м или в 43-м году устроившая (не помню уж, по какому поводу) пир, на который были званы многие соседи. Нас угощали яством, которое называлось ботвинник, и приготавлилось из свекольной ботвы. Это было царское угощение! Никогда ни до, ни после я, кажется, не ел ничего столь вкусного... Это были самые голодные московские годы...

Нет больше ничего этого. Ружейный переулок теперь- это один длинный девятиэтажный дом: фешенебельные подъезды, лифтерши, спрашивающие-кто к кому; перед подъездами стоянки индивидуальных машин. Все дышит комфортом, благополучием и... однообразием. И как же невелико оказалось это расстояние, измеренное одинаковыми подъездами, где люди сплошь да рядом почти не знакомы с соседями по лестничной клетке. Где же размещалась вся эта пестрая, беспорядочная, цыганская жизнь, протекавшая между бесконечными заборами, дровяными сараями, голубятнями, бомбоубежищами; жизнь, которая, как мне казалось, занимала целый огромный материк, раскинувшийся между двумя великими реками: Плющихой и Садовым кольцом.

Все переменялось с тех пор. Переменялся не только Ружейный, но и все соседние переулки, по которым бродил я когда-то в дурмане молодости и

предвкушении какой-то необыкновенной жизни. Не узнать теперь переулка, соединявшего Зубовскую площадь с Плющихой, переулка, по которому ходил Лев Николаевич Толстой, и который когда-то кому-то казался Долгим (ул. Бурденко). И с Девичьего поля убрали хмурого идола, высеченного из гранитной глыбы, задумчиво глядящего из под нависших бровей и засунувшего за пояс пальцы рук. Вместо него на углу сквера в вальяжной позе, закинув ногу на ногу, сидит великий писатель земли русской, благосклонно вззирающий на Хамовнический переулок, переименованный в его честь в улицу Льва Толстого (сомневаюсь, что он порадовался бы этому переименованию).

И вот я снова брожу по переулкам моей юности, пролегающим между Смоленской площадью и Новодевичьим монастырем, брожу и думаю о том, что приобрели, и что потеряли мы за последние 50 лет.

Конечно, мы много приобрели, в этом не приходится сомневаться. Разве сейчас захочешь жить в коммунальной квартире? Едва ли... Едешь на своей "копейке" и завидуешь тому, кто обгоняет тебя на марседесе; открываешь в ванной кран и злишься- опять нет горячей воды, а ведь когда-то... да что говорить. Конечно, мы много приобрели,... но мы что-то потеряли, что-то безвозвратно утратили из тех сумбурных, нищих, праздничных лет, полных нужды, полных послевоенных страданий, полных надежды, полных человеческого общения-тех лет, когда трамваи 31-й и 42-й, сворачивая с Плющихи, спускались по кривому переулку к Бородинскому мосту... тех лет, когда я любил Дину Дурбин...

-